

**ВЛАДИМИР  
МАЯКОВСКИЙ**

ВО ВЕСЬ

ГОЛОС

(СБОРНИК)

Эксклюзив: Русская классика

Владимир Маяковский  
**Во весь голос (сборник)**

«Public Domain»

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

**Маяковский В. В.**

Во весь голос (сборник) / В. В. Маяковский — «Public Domain»,  
— (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-099269-0

В этот сборник вошли наиболее известные поэмы и стихотворения Маяковского разных лет, в полной мере представляющие читателю уникальный стиль поэта: «Флейта-позвоночник», «Облако в штанах», «Про это», «А вы могли бы?», «Любовь», «Во весь голос», стихи из «американского» цикла и др. Оригинальность, бунтарство, резкость стихотворных строк и невероятная, берущая за душу эмоциональность Маяковского, поражавшие его современников, и сейчас не оставят читателя равнодушным.

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-17-099269-0

© Маяковский В. В.  
© Public Domain

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Стихотворения  | 7  |
| Ночь   | 7  |
| Утро   | 8  |
| Порт   | 9  |
| Из улицы в улицу   | 10 |
| А вы могли бы?   | 11 |
| Вывескам   | 12 |
| Я  | 13 |
| 1  | 13 |
| 2  | 13 |
| 3  | 14 |
| 4  | 14 |
| От усталости   | 16 |
| Любовь   | 17 |
| Адище города   | 18 |
| Нате!  | 19 |
| Послушайте!  | 20 |
| А все-таки   | 21 |
| Скрипка и немножко нервно  | 22 |
| Я и Наполеон   | 24 |
| Вам!   | 27 |
| Эй!  | 28 |
| Ко всему   | 30 |
| Лиличка!   | 34 |
| Надоело  | 36 |
| Дешевая распродажа   | 38 |
| Себе, любимому,  | 40 |
| России   | 42 |
| Революция  | 43 |
| «Ешь ананасы, рябчиков жуй...»   | 49 |
| Наш марш   | 50 |
| Ода революции  | 51 |
| Приказ по армии искусства  | 53 |
| Радоваться рано  | 55 |
| Поэт рабочий   | 56 |
| Той стороне  | 58 |
| Левый марш   | 60 |
| С товарищеским приветом, Маяковский                                      | 62 |
| Мы идем  | 64 |
| Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским<br>летом на даче | 66 |
| Отношение к барышне  | 69 |
| «Портсигар в траву...»   | 70 |
| Последняя страничка гражданской войны                                    | 71 |
| О дряни  | 72 |

|  |     |
|--|-----|
| Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе | 74  |
| Приказ № 2 армии искусств                                    | 76  |
| Прозаседавшиеся  | 78  |
| Моя речь на Генуэзской конференции                           | 80  |
| Германия   | 83  |
| Париж  | 85  |
| Мы не верим!   | 89  |
| Весенний вопрос  | 90  |
| Универсальный ответ  | 93  |
| Киев   | 95  |
| Ух, и весело!  | 98  |
| Комсомольская  | 101 |
| Юбилейное  | 105 |
| Севастополь – Ялта   | 113 |
| Владикавказ – Тифлис   | 116 |
| Тамара и демон   | 121 |
| Посмеемся!   | 125 |
| Выволакивайте будущее!                                       | 127 |
| Любовь   | 129 |
| Послание пролетарским поэтам                                 | 133 |
| Фабрика бюрократов   | 138 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                            | 141 |

# **Владимир Владимирович Маяковский**

## **Во весь голос (сборник)**

© ООО «Издательство АСТ», 2016

## Стихотворения

### Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,  
в зеленый бросали горстями дукаты,  
а черным ладоням сбежавшихся окон  
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно  
увидеть на зданиях синие тоги.  
И раньше бегущим, как желтые раны,  
огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —  
плыла, изгибаясь, дверями влекома;  
каждый хотел протащить хоть немножко  
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,  
в глаза им улыбку протиснул; пугая  
ударами в жечь, хохотали арапы,  
над лбом расцветивши крыло попугая.

*1912*

## Утро

Угрюмый дождь скосил глаза.  
А за  
решеткой  
четкой  
железной мысли проводов —  
перина.  
И на  
нее  
встающих звезд  
легко оперлись ноги.  
Но ги-  
бель фонарей,  
царей  
в короне газа,  
для глаза  
сделала больней  
враждующий букет бульварных проституток.  
И жуток  
шутки  
клюющий смех —  
из желтых  
ядовитых роз  
возрос  
зигзагом.  
За гам  
и жуть  
взглянуть  
отрадно глазу:  
раба  
крестов  
страдающе-спокойно-безразличных,  
гроба  
домов  
публичных  
восток бросал в одну пылающую вазу.

*1912*



## Порт

Просты́ни вод под брюхом были.  
Их рвал на волны белый зуб.  
Был вой трубы – как будто лили  
любовь и похоть медью труб.

Прижались лодки в люльках входов  
к сосцам железных матерей.  
В углах оглохших пароходов  
горели серьги якорей.

*1912*

## Из улицы в улицу

У-  
лица.  
Лица  
у  
догов  
годов  
рез-  
че.  
Че-  
рез  
железных коней  
с окон бегущих домов  
прыгнули первые кубы.  
Лебеди шей колокольных,  
гнитесь в силках проводов!  
В небе жирафий рисунок готов  
выпестрить ржавые чубы.  
Пестр, как форель,  
сын  
безузорной пашни.  
Фокусник  
рельсы  
тянет из пасти трамвая,  
скрыт циферблатами башни.  
Мы завоеваны!  
Ванны.  
Души.  
Лифт.  
Лиф души расстегнули.  
Тело жгут руки.  
Кричи, не кричи:  
«Я не хотела!» —  
резок  
жгут  
муки.  
Ветер колючий  
трубе  
вырывает  
дымчатой шерсти клок.  
Лысый фонарь  
сладоострастно снимает  
с улицы  
черный чулок.

1913

## **А вы могли бы?**

Я сразу смазал карту будня,  
плеснувши краску из стакана;  
я показал на блюде студня  
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы  
прочел я зовы новых губ.

А вы  
ноктюрн сыграть  
могли бы  
на флейте водосточных труб?

*1913*

## Вывескам

Читайте железные книги!  
Под флейту золоченой буквы  
полезут копченые сиги  
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песней  
закружат созвездия «Магги» —  
бюро похоронных процессий  
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,  
загасит фонарные знаки,  
влюбляйтесь под небом харчевен  
в фаянсовых чайников маки!

*1913*

## Я

### 1

По мостовой  
моей души изъезженной  
шаги помешанных  
вьют жестких фраз пяты.  
Где города  
повешены  
и в петле облака  
застыли  
башен  
кривые выи —  
иду  
один рыдать,  
что перекрестком  
распяты  
городовые.

### 2

#### Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем  
идет луна —  
жена моя.  
Моя любовница рыжеволосая.  
За экипажем  
крикливо тянется толпа созвездий  
пестрополосая.  
Венчается автомобильным гаражем,  
целуется газетными киосками,

а шлейфа млечный путь моргающим пажем  
украшен мишурными блестками.  
А я?  
Несло же, палимому, бровей коромысло  
из глаз колодцев студеные ведра.  
В шелках озерных ты висла,  
янтарной скрипкой пели бедра?  
В края, где злоба крыш,  
не кинешь блесткой лесни.  
В бульварах я тону, тоской песков оваян:  
ведь это ж дочь твоя —  
моя песня  
в чулке ажурном  
у кофеен!

### 3

#### Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.  
А я гуляю в пестрых павах,  
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.  
Заиграет вечер на гобоях ржавых,  
подхожу к окошку,  
веря,  
что увижу опять  
севшую  
на дом  
тучу.  
А у мамы больной  
пробегают народа шорохи  
от кровати до угла пустого.  
Мама знает —  
это мысли сумасшедшей ворохи  
вылезают из-за крыш завода Шустова.  
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,  
окровавит гаснущая рама,  
я скажу,  
раздвинув басом ветра вой:

«Мама.  
Если станет жалко мне  
вазы вашей муки,  
сбитой каблуками облачного танца, —  
кто же изласкает золотые руки,  
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

### 4

#### Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.  
Вы прибоя смеха мгlistый вал заметили  
за тоски хоботом?  
А я —  
в читальне улиц —  
так часто перелистывал гроба том.  
Полночь  
промокшими пальцами щупала  
меня  
и забитый забор,  
и с каплями ливня на лысине купола  
скакал сумасшедший собор.  
Я вижу, Христос из иконы бежал,  
хитона оветренный край

целовала, плача, слякоть.  
Кричу кирпичу,  
слов исступленных вонзаю кинжал  
в неба распухшего мякоть:  
«Солнце!  
Отец мой!  
Сжалься хоть ты и не мучай!  
Это тобою пролитая кровь моя льется  
дорогою дольней.

Это душа моя  
клочьями порванной тучи  
в выжженном небе  
на ржавом кресте колокольни!  
Время!  
Хоть ты, хромой богомаз,  
лик намалюй мой  
в божницу уродца века!  
Я одинок, как последний глаз  
у идущего к слепым человека!»

*1913*

## От усталости

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову  
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова  
дай обовью я впалые груди болот.

Ты! Нас – двое,

ораненных, загнанных ланями,

вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,  
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,

может быть, мать мне сыщется;

бросил я ей окровавленный песнями рог.

Квакая, скачет по полю

канава, зеленая сыщица,

нас заневолить

веревками грязных дорог.

*1913*



## Любовь

Девушка пугливо куталась в болото,  
ширились зловеще лягушечьи мотивы,  
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,  
и укорно в буклях проходили локомотивы.

В облачные пары сквозь солнечный угар  
врезалось бешенство ветряной мазурки,  
и вот я – озноенный июльский тротуар,  
а женщина поцелуи бросает – окурки!

Бросьте города, глупые люди!  
Идите голые лить на солнцепеке  
пьяные вина в меха-груди,  
дождь-поцелуи в угли-щеки.

*1913*

## Адище города

Адище города окна разбили  
на крохотные, сосущие светами адки.  
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,  
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —  
сбитый старикашка шарил очки  
и заплакал, когда в вечереющем смерче  
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда  
и железо поездов громоздило лаз —  
крикнул аэроплан и упал туда,  
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —  
ночь излюбилась, похабна и пьяна,  
а за солнцами улиц где-то ковыляла  
никому не нужная, дряблая луна.

*1913*

## Нате!

Через час отсюда в чистый переулок  
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,  
а я вам открыл столько стихов шкатулок,  
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста  
где-то недокушанных, недоеденных шей;  
вот вы, женщина, на вас белила густо,  
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца  
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.  
Толпа озверев, будет тереться,  
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,  
кривляться перед вами не захочется – и вот  
я захохочу и радостно плюну,  
плюну в лицо вам  
я – бесценных слов транжир и мот.

*1913*

## Послушайте!

Послушайте!  
Ведь, если звезды зажигают —  
значит – это кому-нибудь нужно?  
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?  
Значит – кто-то называет эти плевóчки  
жемчужиной?

И, надрываясь  
в метелях полуденной пыли,  
врывается к богу,  
боится, что опоздал,  
плачет,  
целует ему жилистую руку,  
просит —  
чтоб обязательно была звезда! —  
клянется —  
не перенесет эту беззвездную муку!

А после  
ходит тревожный,  
но спокойный наружно.  
Говорит кому-то:  
«Ведь теперь тебе ничего?  
Не страшно?  
Да?!»

Послушайте!  
Ведь, если звезды  
зажигают —  
значит – это кому-нибудь нужно?  
Значит – это необходимо,  
чтобы каждый вечер  
над крышами  
загоралась хоть одна звезда?!

*1914*

## А все-таки

Улица провалилась, как нос сифилитика.  
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.  
Отбросив белье до последнего листика,  
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,  
выжженный квартал  
надел на голову, как рыжий парик.  
Людам страшно – у меня изо рта  
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,  
как пророку, цветами устелят мне след.  
Все эти, провалившиеся носами, знают:  
я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!  
Меня одного сквозь горящие здания  
проститутки, как святыню, на руках понесут  
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!  
Не слова – судороги, слипшиеся комом;  
и побежит по небу с моими стихами под мышкой,  
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

*1914*

## Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,  
и вдруг разревелась  
так по-детски,  
что барабан не выдержал:  
«Хорошо, хорошо, хорошо!»  
А сам устал,  
не дослушал скрипкиной речи,  
шмыгнул на горящий Кузнецкий  
и ушел.  
Оркестр чужо смотрел, как  
выплакивалась скрипка  
без слов,  
без такта,  
и только где-то  
глупая тарелка  
вылязгивала:  
«Что это?»  
«Как это?»  
А когда геликон —  
меднорожий,  
потный,  
крикнул:  
«Дура,  
плакса,  
вытри!» —  
я встал,  
шатаясь полез через ноты,  
сгибающиеся под ужасом пюпитры,  
зачем-то крикнул:  
«Боже!»,  
Бросился на деревянную шею:  
«Знаете что, скрипка?  
Мы ужасно похожи:  
я вот тоже  
ору —  
а доказать ничего не умею!»  
Музыканты смеются:  
«Влип как!  
Пришел к деревянной невесте!  
Голова!»  
А мне – наплевать!  
Я – хороший.  
«Знаете что, скрипка?  
Давайте —  
будем жить вместе!  
А?»

*1914*

## Я и Наполеон

Я живу на Большой Пресне,  
36, 24.  
Место спокойненькое.  
Тихонькое.  
Ну?  
Кажется – какое мне дело,  
что где-то  
в буре-мире  
взяли и выдумали войну?  
Ночь пришла.  
Хорошая.  
Вкрадчивая.  
И чего это барышни некоторые  
дрожат, пугливо поворачивая  
глаза громадные, как прожекторы?  
Уличные толпы к небесной влаге  
припали горящими устами,  
а город, вытрепав ручонки-флаги,  
молится и молится красными крестами.

Простоволосая церковка бульварному  
изголовью  
припала, – набитый слезами куль, —  
а у бульвара цветники истекают кровью,  
как сердце, изодранное пальцами пуль.

Тревога жиреет и жиреет,  
жрет зачерстевший разум.  
Уже у Ноева оранжереи  
покрылись смертельно-бледным газом!  
Скажите Москве —  
пускай удержится!  
Не надо!  
Пусть не трясется!  
Через секунду  
встречу я  
неб самодержца, —  
возьму и убью солнце!  
Видите!  
Флаги по небу полощет.  
Вот он!  
Жирен и рыж.  
Красным копытом грохнув о площадь,  
въезжает по трупам крыш!

Тебе,



орущему:  
«Разрушу,  
разрушу!»),  
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,  
я,  
сохранивший бесстрашную душу,  
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,  
сложите в костер лица!  
Все равно!  
Это нам последнее солнце —  
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.  
Сегодня я – Наполеон!  
Я полководец и больше.  
Сравните:  
я и – он!

Он раз чуме приблизился тронем,  
смелостью смерть поправ, —  
я каждый день иду к зачумленным  
по тысячам русских Яфф!  
Он раз, не дрогнув, стал под пули  
и славится столетий сто, —  
а я прошел в одном лишь июле  
тысячу Аркольских мостов!  
Мой крик в граните времени выбит,  
и будет греметь и гремит  
оттого, что  
в сердце, выжженном, как Египет,  
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!  
Выше!  
В костер лица!  
Здравствуй,  
мое предсмертное солнце,  
солнце Аустерлица!  
Люди!  
Будет!  
На солнце!  
Прямо!  
Солнце съежится аж!  
Громче из сжатого горла храма  
хрипи, похоронный марш!  
Люди!  
Когда канонизируете имена

погибших,  
меня известней, —  
помните:  
еще одного убила война —  
поэта с Большой Пресни!

*1915*

## Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,  
имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию  
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,  
думающие, нажраться лучше как, —  
может быть, сейчас бомбой ноги  
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,  
вдруг увидел, израненный,  
как вы измазанной в котлете губой  
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,  
жизнь отдавать в угоду?!  
Я лучше в баре блядям буду  
подавать ананасную воду!

*1915*

## Эй!

Мокрая, будто ее облизали,  
толпа.  
Прокисший воздух плесенью веет.  
Эй!  
Россия,  
нельзя ли  
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,  
хотя бы закрыв глаза,  
забыть вас,  
ненужных, как насморк,  
и трезвых,  
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно  
во всей вселенной нету Капри.  
А Капри есть.  
От сияний цветочных  
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег  
забудем, качая тела в пароходах.  
Наоткрываем десятки Америк.

В неведомых полюсах вынежим отдых.  
Смотри, какой ты ловкий,  
а я —  
вон у меня рука груба как.  
Быть может, в турнирах,  
быть может, в боях  
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,  
смотреть, растопырил ноги как.  
И вот врага, где предку  
туда  
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,  
забыв привычку спать,  
всю ночь напролет провести,  
глаза  
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошетишься, как еж,

с похмельем придя поутру,  
неверной любимой грозить, что убьешь  
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,  
крахмальные груди раскрасим под панцирь,  
загнем рукоять на столовом ноже,  
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,  
любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,  
землю саму  
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,  
новые звезды придумай и выставь,  
чтоб, исступленно царапая крыши,  
в небо карабкались души артистов.

*1916*

## Ко всему

Нет.  
Это неправда.  
Нет!  
И ты?  
Любимая,  
за что,  
за что же?!  
Хорошо —  
я ходил,  
я дарил цветы,  
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,  
сшатался с пятого этажа.  
Ветер щеки ожег.  
Улица клубилась, визжа и ржа.  
Похотливо взлезил рожок на рожок.  
Вознес над суетой столичной одури  
строгое —  
древних икон —  
чело.

На теле твоём – как на смертном бдре —  
сердце  
дни  
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.  
Ты  
уронила только:  
«В мягкой постели  
он,  
фрукты,  
вино на ладони ночного столика».

Любовь!  
Только в моем  
воспаленном  
мозгу была ты!  
Глупой комедии остановите ход!  
Смотрите —  
срываю игрушки-латы  
я,  
величайший Дон-Кихот!

Помните:

под ношей креста  
Христос  
секунду  
усталый стал.  
Толпа орала:  
«Марала!  
Мааарррааала!»

Правильно!  
Каждого,  
кто  
об отдыхе взмолится,  
оплюй в его весеннем дне!  
Армии подвижников, обреченным добровольцам  
от человека пощады нет!

Довольно!  
Теперь —  
клянусь моей языческой силою! —  
дайте  
любую  
красивую,  
юную, —  
души не растрочу,  
изнасилую  
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!  
В каждое ухо ввой:

вся земля —  
каторжник  
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,  
похороните —  
выроюсь!  
Об камень обточатся зубов ножи еще!  
Собакой забьюсь под нары казарм!  
Буду,  
бешеный,  
вгрызаться в ножища,  
пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскóчите!

Я  
звал!  
Белым быком возрос над землей:  
Муууу!  
В ярмо замучена шея-язва,  
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,  
в провода  
впутаю голову ветвистую  
с налитыми кровью глазами.  
Да!  
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!  
Молитва у рта, —  
лег на плиты просящ и грязен он.  
Я возьму  
намалюю  
на царские врата  
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!  
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —  
чтоб тысячами рождались мои ученики  
трубить с площадей анафему!

И когда,  
наконец,  
на веков верхи став,  
последний выйдет день им, —  
в черных душах убийц и анархистов  
зажгусь кровавым видением!

Светает.  
Все шире разверзается неба рот.  
Ночь  
пьет за глотком глоток он.  
От окон зарево.  
От окон жар течет.  
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!  
Опять  
над уличной пылью  
ступенями строк ввысь поведи!  
До края полное сердце  
вылью  
в исповеди!



Грядущие люди!  
Кто вы?  
Вот – я,  
весь  
боль и ушиб.  
Вам завещаю я сад фруктовый  
моей великой души.

*1916*

## Лиличка!

### Вместо письма

Дым табачный воздух выел.  
Комната —  
глава в крученыховском аде.  
Вспомни —  
за этим окном

впервые  
руки твои, исступленный, гладил.  
Сегодня сидишь вот,  
сердце в железе.  
День еще —  
выгонишь,  
может быть, изругав.  
В мутной передней долго не влезет  
сломанная дрожью рука в рукав.  
Выбегу,  
тело в улицу брошу я.  
Дикий,  
обезумлюсь,  
отчаяньем иссечась.  
Не надо этого,  
дорогая,  
хорошая,  
дай простимся сейчас.  
Все равно  
любовь моя —  
тяжкая гиря ведь —  
висит на тебе,  
куда ни бежала б.  
Дай в последнем крике вырветь  
горечь обиженных жалоб.  
Если быка трудом уморят —  
он уйдет,  
разляжется в холодных водах.  
Кроме любви твоей,  
мне  
нету моря,  
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.  
Захочет покоя уставший слон —  
царственный ляжет в опожаренном песке.  
Кроме любви твоей,  
мне  
нету солнца,

а я и не знаю, где ты и с кем.  
Если б так поэта измучила,  
он

любимую на деньги б и славу выменял,  
а мне  
ни один не радостен звон,  
кроме звона твоего любимого имени.  
И в пролет не брошусь,  
и не выпью яда,  
и курок не смогу над виском нажать.  
Надо мною,  
кроме твоего взгляда,  
не властно лезвие ни одного ножа.  
Завтра забудешь,  
что тебя короновал,  
что душу цветущую любовью выжег,  
и суетных дней взметенный карнавал  
растреплет страницы моих книжек...  
Слов моих сухие листья ли  
заставят остановиться,  
жадно дыша?

Дай хоть  
последней нежностью выстелить  
твой уходящий шаг.

*26 мая 1916 г., Петроград*

## Надоело

Не высидел дома.  
Анненский, Тютчев, Фет.  
Опять,  
тоскою к людям ведомый,  
иду  
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.  
Сияние.  
Надежда сияет сердцу глупому.  
А если за неделю  
так изменился россиянин,  
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,  
роюсь в пиджачной куче.  
«Назад,  
наз-зад,  
назад!»  
Страх орет из сердца,  
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.  
Вижу,  
вправо немножко,  
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,  
старательно работает над телячьей ножкой  
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.  
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.  
Два аршина безлицега розоватого теста:  
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи  
мягкие складки лоснящихся щек.  
Сердце в иступлении,  
рвет и мечет.  
«Назад же!  
Чего еще?»

Влево смотрю.  
Рот разинул.  
Обернулся к первому, и стало иначе:  
для увидевшего вторую образину  
первый —

воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.

Понимаете

крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая идти,

а сказать кому?

Брошусь на землю,

камня корою

в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.

Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев

покрою

умную морду трамвая.

В дом уйду.

Прилипну к обоям.

Где роза есть нежнее и чайнее?

Хочешь —

тебе

рябое

прочту «Простое как мычание»?

### Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,

земля итогами подведена будет —

помните:

в 1916 году

из Петрограда исчезли красивые люди.

*1916*

## Дешевая распродажа

Женщину ль опутываю в трогательный роман,  
просто на прохожего гляжу ли —  
каждый опасливо придерживает карман.  
Смешные!  
С нищих —  
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —  
кандидат на сажень городского морга —  
я  
бесконечно больше богат,  
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет  
— словом, не выживу —  
с голода сдохну ль,  
стану ль под пистолет —

меня,  
сегодняшнего рыжего,  
профессора разучат до последних иот,  
как,  
когда,  
где явлен.

Будет  
с кафедры лобастый идиот  
что-то молоть о богодьяволе.

Склбнится толпа,  
лебезяца,  
суетна.  
Даже не узнаете —  
я не я:  
облысевшую голову разрисует она  
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,  
прежде чем лечь,  
она  
не забудет над стихами моими замлеть.  
Я – пессимист,  
знаю —  
вечно  
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,  
– а ее богатства пойдите смерти ей! —  
великолепие,  
что в вечность украсит мой шаг,  
и самое мое бессмертие,  
которое, громыхая по всем векам,  
коленипреклоненных соберет мировое вече, —  
все это – хотите? —  
сейчас отдам  
за одно только слово

ласковое,  
человечье.  
Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,  
идите со всего земного лона.  
Сегодня  
в Петрограде  
на Надеждинской  
ни за грош  
продается драгоценнейшая корона.

За человечье слово —  
не правда ли, дешево?  
Пойди,  
попробуй, —  
как же,  
найдешь его!

*1916*

## Себе, любимому,

посвящает эти строки автор

Четыре.  
Тяжелые, как удар.  
«Кесарево кесарю – богу богово».  
А такому,  
как я,  
ткнуться куда?  
Где для меня уготовано логово?

Если б был я  
маленький,  
как Великий океан, —  
на цыпочки б волн встал,  
приливом ласкался к луне бы.  
Где любимую найти мне,  
такую, как и я?  
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!  
Как миллиардер!  
Что деньги душе?  
Ненасытный вор в ней.  
Моих желаний разнузданной орде  
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,  
как Дант  
или Петрарка!  
Душу к одной зажечь!  
Стихами велеть истлеть ей!  
И слова  
и любовь моя —  
триумфальная арка:  
пышно,  
бесследно пройдут сквозь нее  
любовницы всех столетий.

О, если б был я  
тихий,  
как гром, —  
ныл бы,  
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.  
Я  
если всей его мощью



выреву голос огромный —  
кометы заломят горящие руки,  
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —  
о, если б был я  
тусклый,  
как солнце!  
Очень мне надо  
сияньем моим поить  
земли отощавшее лонце!

Пройду,  
любовищу мою волоча.  
В какой ночи,  
бредовбй,

недужной,  
какими Голиафами я зачأت —  
такой большой  
и такой ненужный?

*1916*

## России

Вот иду я,  
заморский страус,  
в перьях строф, размеров и рифм.  
Спрятать голову, глупый, стараюсь,  
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.  
Глубже  
в перья, душа, уложись!  
И иная окажется родина,  
вижу —  
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.  
В пальмы овазился.  
«Эй,  
дорогу!»  
Выдумку мнут.  
И опять  
до другого оазиса  
вью следы песками минут.

Иные жмутся —  
уйти б,  
не кусается ль? —  
Иные изогнуты в низкую лесть.  
«Мама,  
а мама,  
несет он яйца?» —  
«Не знаю, душечка.  
Должен бы несть».

Ржут этажия.  
Улицы плятятся.  
Обдают водой холода́.  
Весь истыканный в дымы и в пальцы,  
переваливаю года.  
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!  
Бритвой ветра перья обрей.  
Пусть исчезну,  
чужой и заморский,  
под неистовства всех декаблей.

1916

## Революция *Поэтохроника*

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,  
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блеснам дул и лезвий  
рассвет.  
Рдел багрян и дблог.  
В промозглой казарме  
суровый  
трезвый  
молился Волынский полк.

Жестоким  
солдатским богом божились  
роты,  
бились об пол головой многолобой.  
Кровь разжигалась, висками жиясь.  
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,  
приказавшему —  
«Стрелять за голод!» —  
заткнули пулей орущий рот.

Чье-то – «Смирно!»  
Не кончил.  
Заколот.  
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте  
в Военной автомобильной школе  
стоим,  
зажатые казарм оградюю.  
Рассвет растет,  
сомненьем колет,  
предчувствием страха и радуя.

Окну!  
Вижу —  
оттуда,  
где режется небо  
дворцов иззубленной линией,

взлетел,  
простерся орел самодержца,  
черней, чем раньше,  
злей,  
орлинее.

Сразу —  
люди,  
лошади,  
фонари,  
дома  
и моя казарма  
толпами  
пó сто  
ринулись на улицу.  
Шагами ломаемая, звенит мостовая.  
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,  
из пенья толпы ль,  
из рвущейся меди ли труб гвардейцев  
нерукотворный,

сияньем пробивая пыль,  
образ возрос.  
Горит.  
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.  
Хлеба нужней,  
воды изжажданней,  
вот она:  
«Граждане, за ружья!  
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов  
стоглавой лавою  
из горла города ввысь взлетела.  
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое  
орла императорского черное тело.

Граждане!  
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».  
Сегодня пересматривается миров основа.  
Сегодня  
до последней пуговицы в одежде  
жизнь переделаем снова.

Граждане!

Это первый день рабочего потопа.  
Идем  
запутавшемуся миру на выручу!  
Пусть толпы в небо вбивают топот!  
Пусть флоты ярость сиренами вырычат!

Горе двуглавному!  
Пенится пенье.  
Пьянит толпу.  
Площади плещут.  
На крохотном «форде»  
мчим,  
обгоняя погони пуль.  
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.  
Улиц река дымит.  
Как в бурю дюжина груженных барж,  
над баррикадами  
плывет, громохвая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро  
жужжа скатилось за купол Думы.  
Нового утра новую дрожь  
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?  
Их ли из окон выломим,  
или на нарах  
ждать,  
чтоб снова  
Россию  
могилами  
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.  
Дальше,  
в шинели орыт.  
Рассыпав дома в пулеметном треске,  
город грохочет.  
Город горит.

Везде языки.  
Взовьются и лягут.  
Вновь взвиваются, искры рассея.  
Это улицы,  
взяв по красному флагу,  
призывом зарев зовут Россию.

Еще!  
О, еще!  
О, ярче учи, красноязыкий оратор!  
Зажми и солнца  
и лун лучи  
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!  
Каторгам в двери  
ломись,  
когтями ржавые выев.  
Пучками черных орлиных перьев  
подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.  
По чердакам раскинули поиск.  
Минута близко.  
На Троицкий мост  
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.  
Стиснулись.  
Бьемся.  
Секунда! —  
и в лак  
заката  
с фортов Петропавловской крепости  
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!  
Шеищи глав  
рубите наотмашь!  
Чтоб больше не обжил.  
Вот он!  
Падает!  
В последнего из-за угла! – вцепился.  
«Боже,  
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!  
Радость трубите всеми голосами!  
Нам  
до бога  
дело какое?  
Сами  
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?  
Или

души задушены Сибирей саваном?  
Мы победили!  
Слава нам!  
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,  
повелевается воля иная.  
Новые несем земле скрижали  
с нашего серого Синая.

Нам,  
Поселянам Земли,  
каждый Земли Поселянин родной.  
Все  
по станкам,  
по конторам,  
по шахтам братья.  
Мы все  
на земле  
солдаты одной,  
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,  
держав бытие  
подвластны нашим волям.  
Наша земля.  
Воздух – наш.  
Наши звезд алмазные копи.  
И мы никогда,  
никогда!  
никому,  
никому не позволим!  
землю нашу ядрами рвать,  
воздух наш раздирать острями отточенных  
копий.

Чья злоба надвое землю сломала?  
Кто вздыбил дымы над заревом боен?

Или солнца  
одного  
на всех мало?!  
Или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,  
последний штык заводы гранят.  
Мы всех заставим рассыпать порох.  
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серую,  
не крики тех, кому есть нечего;  
это народа огромного грóмовое:  
– Верую  
величию сердца человеческого! —

Это над взбитой битвами пылью,  
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,  
днесь  
небывалой сбывается былью  
социалистов великая ересь!

*17 апреля 1917 г., Петроград*



**«Ешь ананасы, рябчиков жуй...»**

Ешь ананасы, рябчиков жуй,  
день твой последний приходит, буржуй.

*1917*

## Наш марш

Бейте в площади бунтов топот!  
Выше, гордых голов гряда!  
Мы разливом второго потопа  
перемоем миров города.

Дней бык пег.  
Медленна лет арба.  
Наш бог бег.  
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?  
Нас ли сжалит пули оса?  
Наше оружие – наши песни.  
Наше золото – звенящие голоса.

Зеленю ляг, луг,  
выстели дно дням.  
Радуга, дай дуг  
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!  
Без него наши песни вьем.  
Эй, Большая Медведица! требуй,  
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!  
В жилах весна разлита.  
Сердце, бей бой!  
Грудь наша – медь литавр.

*1917*

## Ода революции

Тебе,  
освистанная,  
осмеянная батареями,  
тебе,  
изъязвленная злословием штыков,  
восторженно возношу  
над руганью реемой  
«О»!  
О, звериная!  
О, детская!  
О, копеечная!  
О, великая!

Каким названьем тебя еще звали?  
Как обернешься еще, двуликая?  
Стройной постройкой,  
грудой развалин?  
Машинисту,  
пылью угля овечьному,

шахтеру, пробивающему толщи руд,  
кадишь,  
кадишь благоговейно,  
славишь человеческий труд.  
А завтра  
Блаженный  
стропила соборы  
тщетно возносит, пощаду моля, —  
твоих шестидюймовок тупорылые боры  
взрывают тысячелетия Кремля.  
«Слава».  
Хрипит в предсмертном рейсе.  
Визг сирен придушенно тонок.  
Ты шлешь моряков  
на тонущий крейсер,  
туда,  
где забытый  
мяукал котенок.  
А после!  
Пьяной толпой орала.  
Ус залихватский закручен в форсе.  
Прикладами гонишь седых адмиралов  
вниз головой  
с моста в Гельсингфорсе.  
Вчерашние раны лижет и лижет,  
и снова вижу вскрытые вены я.

Тебе обывательское  
– о, будь ты проклята трижды! —  
и мое,  
поэтово  
– о, четырежды славься, благословенная!  
*1918*

## Приказ по армии искусства

Канителям стариков бригады  
канитель одну и ту ж.  
Товарищи!  
На баррикады! —  
баррикады сердец и душ.

Только тот коммунист истый,  
кто мосты к отступлению сжег.  
Довольно шагать, футуристы,  
в будущее прыжок!  
Паровоз построить мало —  
накрутил колес и утек.  
Если песнь не громит вокзала,  
то к чему переменный ток?  
Громоздите за звуком звук вы  
и вперед,  
попя и свища.  
Есть еще хорошие буквы:  
Эр,  
Ша,  
Ща.  
Это мало – построить парами,  
распушить по штанине канты.  
Все совдепы не сдвинут армий,  
если марш не дадут музыканты.  
На улицу тащите рояли,  
барабан из окна багром!  
Барабан,  
рояль раскрой ли,  
но чтоб грохот был,  
чтоб гром.  
Это что – корпеть на заводах,  
перемазать рожу в копоть  
и на роскошь чужую  
в отдых  
осовелыми глазками хлопать.  
Довольно грошовых истин.  
Из сердца старое вытри.  
Улицы – наши кисти.  
Площади – наши палитры.  
Книгой времени  
тысячелистой  
революции дни не воспеты.  
На улицы, футуристы,  
барабанчики и поэты!

*1918*

## Радоваться рано

Будущее ищем.  
Исходили вёрсты торцов.  
А сами  
расселились кладбищем,  
придавлены плитами дворцов.  
Белогвардейца  
найдете – и к стенке.  
А Рафаэля забыли?  
Забыли Растрелли вы?  
Время  
пулям  
по стенке музеев тенькать.  
Стодюймовками глоток старье расстреливай!  
Сеете смерть во вражьем стане.  
Не попадись, капитала наймиты.  
А царь Александр  
на площади Восстаний  
стоит?  
Туда динамиты!  
Выстроили пушки по опушке,  
глухи к белогвардейской ласке.  
А почему  
не атакован Пушкин?  
А прочие  
генералы классики?  
Старье охраняем искусства именем.  
Или  
зуб революций ступился о короны?  
Скорее!  
Дым развейте над Зимним —  
фабрики макаронной!  
Попалили денек-другой из ружей  
и думаем —  
старому нос утрем.  
Это что!  
Пиджак сменить снаружи —  
мало, товарищи!  
Выворачивайтесь нутром!

1918

## Поэт рабочий

Орут поэту:  
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.  
А что стихи?  
Пустое это!  
Небось работать – кишка тонка».  
Может быть,  
нам  
труд  
всяких занятий роднее.  
Я тоже фабрика.  
А если без труб,  
то, может,  
мне  
без труб труднее.  
Знаю,  
не любите праздных фраз вы.  
Рубите дуб – работать дабы.  
А мы  
не деревообделочники разве?  
Голов людских обдělываем дубы.  
Конечно,  
почтенная вещь – рыбачить.  
Вытащить сеть.  
В сетях осетры б!  
Но труд поэтов – почтенный паче —  
людей живых ловить, а не рыб.  
Огромный труд – гореть над горном,  
железа шипящие класть в закал.  
Но кто же  
в безделье бросит укор нам?  
Мозги шлифуем рашпилем языка.  
Кто выше – поэт  
или техник,  
который  
ведет людей к вещественной выгоде?  
Оба.  
Сердца – такие ж моторы.  
Душа – такой же хитрый двигатель.  
Мы равные.  
Товарищи в рабочей массе.  
Пролетарии тела и духа.  
Лишь вместе  
вселенную мы разукрасим  
и маршами пустим ухать.  
Отгородимся от бурь словесных молотом.  
К делу!



Работа жива и нова.  
А праздных ораторов —  
на мельницу!  
К мукомолам!  
Водой речей вертеть жернова.

*1918*

## Той стороне

Мы  
не вопль гениальничанья —  
«все дозволено»,  
мы  
не призыв к ножовой расправе,  
мы  
просто  
не ждем фельдфебельского  
«вольно!»,  
чтоб спину искусства размять,  
расправить.

Гарцуют скелеты всемирного Рима  
на спинах наших.  
В могилах малó им.  
Так что ж удивляться,  
что непримиримо  
мы  
мир обложили сплошным «долоем».

Характер различен.  
За целость Венеры вы  
готовы щадить веков камарилью.  
Вселенский пожар размочалил нервы.  
Орете:  
«Пожарных!  
Горит Мурильо!»  
А мы —  
не Корнеля с каким-то Расином —  
отца, —  
предложи на старье меняться, —  
мы  
и его  
обольем керосином  
и в улицы пустим —  
для иллюминаций.  
Бабушка с дедушкой.  
Папа да мама.  
Чинопочитанья проклятого тина.  
Лачуги рушим.  
Возносим дома мы.  
А вы нас —  
«ловить арканом картинок?!»

Мы  
не подносим —

«Готово!  
На блюде!  
Хлебайте сладкое с чайной ложки!»  
Клич футуриста:  
были б люди —  
искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.  
Футуристов возраст – призыв.  
Изрубленные, как капуста,  
мы войн,  
революций призы.  
Но мы  
не зовем обывателей гроба.  
У пьяной,  
в кровавом пунше,  
земли —  
смотрите! —  
взбухает утроба.

Рядами выходят юноши.  
Идите!  
Под ноги —  
топчите ими —  
мы  
бросим  
себя и свои творенья.  
Мы смерть зовем рожденья во имя.  
Во имя бега,  
паренья,  
реянья.  
Когда ж  
прорвемся сквозь заставы,  
и праздник будет за болью боя, —  
мы  
все украшенья  
расставить заставим —  
любите любое!

1918

## Левый марш

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!  
Словесной не место кляузе.  
Тише, ораторы!  
Ваше  
слово,  
товарищ маузер.  
Довольно жить законом,  
данным Адамом и Евой.  
Клячу историю загоним.  
Левой!  
Левой!  
Левой!

Эй, синемлузые!  
Рейте!

За океаны!  
Или  
у броненосцев на рейде  
ступлены острые кили?!  
Пусть,  
оскалясь короной,  
вздывает британский лев вой.  
Коммуне не быть покоренной.  
Левой!  
Левой!  
Левой!

Там  
за горами гбря  
солнечный край непочатый.  
За голод,  
за мора море  
шаг миллионный печатай!  
Пусть бандой окружат нанятой,  
стальной изливаются леевой, —  
России не быть под Антантой.  
Левой!  
Левой!  
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?  
В старое ль станем пялиться?

Крепи  
у мира на горле  
пролетариата пальцы!  
Грудью вперед бравой!  
Флагами небо оклеивай!  
Кто там шагает правой?  
Левой!  
Левой!  
Левой!

*1918*

## С товарищеским приветом, Маяковский

Дралось  
некогда  
греков триста  
сразу с войском персидским всем.

Так и мы.  
Но нас,  
футуристов,  
нас всего – быть может – семь.

Тех  
нашли у истории в пылях.  
Подсчитали  
всех, кто сражен.  
И поют  
про смерть в Фермопилах.  
Восхваляют, что лез на рожон.

Если петь  
про залезших в щели,  
меч подъявших  
и павших от, —  
как не петь  
нас,  
у мыслей в ущелье,  
не сдаваясь, дерущихся год?

Слава вам!  
Для посмертной лести  
да не словит вас смерти лов.  
Неуязвимые, лезьте  
по скользящим скалам слов.

Пусть  
хотя б по капле,  
пó две  
ваши души в мир волюются  
и растят  
рабочий подвиг,  
именуемый  
«Революция».

Поздравители  
не хлопают дверью?

Им  
от страха  
небо в овчину?  
И не надо.  
Сотую —  
верю! —  
встретим годовщину.

*1919*

## Мы идем

Кто вы?  
Мы  
разносчики новой веры,  
красоте задающей железный тон.  
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,  
в небеса шарахаем железобетон.  
Победители,  
шествуем по свету  
сквозь рев стариков злочий.  
И всем,  
кто против,  
советуем  
следующий вспомнить случай.  
Раз  
на радугу  
кулаком  
замахнулся городской:  
— чего, мол, меня нарядней и чище! —  
а радуга  
вырвалась  
и давай  
опять сиять на полицейском кулачище.  
Коммунисту ль  
распластываться  
перед тем, кто старей?  
Беречь сохранность насиженных мест?  
Это революция  
и на Страстном монастыре  
начертила:

«Не трудящийся не ест».  
Революция  
отшвырнула  
тех, кто  
рушащееся  
оплакивал тысячью родов,  
ибо знает:  
новый грядет архитектор —  
это мы,  
иллюминаторы завтрашних городов.  
Мы идем  
нерушимо,  
бодро.  
Эй, двадцатилетние!  
взываем к вам.  
Барабня,



тащите красок вёдра.  
Заново обкрасимся.  
Сияй, Москва!  
И пускай  
с газеты  
какой-нибудь выродок  
сражается с нами  
(не на смерть, а на живот).  
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;  
а молодость,  
ничего —  
живет.

*1919*

## Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,  
в июль катилось лето,  
была жара,  
жара плыла —  
на даче было это.  
Пригорок Пушкино горбил  
Акуловой горою,  
а низ горы —  
деревней был,  
кривился крыш корою.  
А за деревнею —  
дыра,  
и в ту дыру, наверно,  
спускалось солнце каждый раз,  
медленно и верно.  
А завтра  
снова  
мир залить  
вставало солнце ало.  
И день за днем  
ужасно злить  
меня  
вот это  
стало.  
И так однажды разозлясь,  
что в страхе все поблекло,  
в упор я крикнул солнцу:  
«Слазь!  
довольно шляться в пекло!»  
Я крикнул солнцу:  
«Дармояд!  
занежен в облака ты,  
а тут – не знай ни зим, ни лет,  
сиди, рисуй плакаты!»  
Я крикнул солнцу:  
«Погоди!  
послушай, златолобо,  
чем так,  
без дела заходить,  
ко мне  
на чай зашло бы!»  
Что я наделал!  
Я погиб!  
Ко мне,

по доброй воле,  
само,  
раскинув луч-шаги,  
шагает солнце в поле.  
Хочу испуг не показать —  
и ретируюсь задом.  
Уже в саду его глаза.  
Уже проходит садом.  
В окошки,  
в двери,  
в щель войдя,  
валилась солнца масса,  
ввалилось;  
дух переведа,  
заговорило басом:  
«Гоню обратно я огни  
впервые с сотворенья.  
Ты звал меня?  
Чаи гони,  
гони, поэт, варенье!»  
Слеза из глаз у самого —  
жара с ума сводила,  
но я ему —  
на самовар:  
«Ну что ж,  
садись, светило!»  
Черт дернул дерзости мои  
орать ему, —  
сконфужен,  
я сел на уголок скамьи,  
боюсь – не вышло б хуже!  
Но странная из солнца ясь  
струилась, —  
и степенность  
забыв,  
сижу, разговорясь  
с светилом постепенно.  
Про то,  
про это говорю,  
что-де заела Роста,  
а солнце:  
«Ладно,  
не горюй,  
смотри на вещи просто!  
А мне, ты думаешь,  
светить  
легко?  
– Поди, попробуй! —  
А вот идешь —

взялось идти,  
идешь – и светишь в оба!»  
Болтали так до темноты —  
до бывшей ночи то есть.  
Какая тьма уж тут?  
На «ты»  
мы с ним, совсем освоюсь.  
И скоро,  
дружбы не тая,  
бью по плечу его я.  
А солнце тоже:  
«Ты да я,  
нас, товарищ, двое!  
Пойдем, поэт,  
взорим,  
вспоем  
у мира в сером хламе.  
Я буду солнце лить свое,  
а ты – свое,  
стихами».  
Стена теней,  
ночей тюрьма  
под солнц двустволкой пала.  
Стихов и света кутерьма —  
сияй во что попало!  
Устанет то,  
и хочет ночь  
прилечь,  
тупая сонница.  
Вдруг – я  
во всю светаю мочь —  
и снова день трезвонится.  
Светить всегда,  
светить везде,  
до дней последних донца,  
светить —  
и никаких гвоздей!  
Вот лозунг мой —  
и солнца!

1920

## Отношение к барышне

Этот вечер решал —  
не в любовники выйти ль нам? —  
темно,  
никто не увидит нас.  
Я наклонился действительно,  
и действительно  
я,  
наклонясь,  
сказал ей,  
как добрый родитель:  
«Страсти крут обрыв —  
будьте добры,  
отойдите.  
Отойдите,  
будьте добры».

*1920*

## «Портсигар в траву...»

Портсигар в траву  
ушел на треть.  
И как крышка  
блестит

наклонились смотреть  
муравьишки всяческие и травишка.  
Обалдело дивились  
выкрутас монограмме,  
дивились сиявшему серебром  
полированным,  
не стоившие со своими морями и горами  
перед делом человеческим  
ничего ровно.  
Было в диковинку,  
слепило зрение им,  
ничего не видевшим этого рода.  
А портсигар блестел  
в окружающее с презрением:  
– Эх, ты, мол,  
природа!

*1920*

## Последняя страничка гражданской войны

Слава тебе, краснозвездный герой!  
Землю кровью вымыв,  
во славу коммуны,  
к горе за горой  
шедший твердынями Крыма.  
Они проползали танками рвы,  
выпятив пушек шеи, —  
телами рвы заполняли вы,  
по трупам перейдя перешеек.  
Они  
за окопами взрыли окоп,  
хлестали свинцовой рекою, —  
а вы  
отобрали у них Перекоп  
чуть не голой рукою.  
Не только тобой завоеван Крым  
и белых разбита орава, —  
удар твой двойной:  
завоевано им  
трудиться великое право.  
И если  
в солнце жизнь суждена  
за этими днями хмурыми,  
мы знаем —  
вашей отвагой она  
взята в перекопском штурме.  
В одну благодарность сливаем слова  
тебе,  
краснозвездная лава.  
Во веки веков, товарищи,  
вам —  
слава, слава, слава!

*1920–1921*

## О дряни

Слава. Слава, Слава героям!!!

Впрочем,  
им  
довольно воздали дани.  
Теперь  
поговорим  
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон  
Подернулась тиной советская мешанина.  
И вылезло  
из-за спины РСФСР  
мурло  
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,  
я вовсе не против мещанского сословия.  
Мещанам  
без различия классов и сословий  
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,  
с первого дня советского рождения  
стеклись они,  
наскоро оперенья переменив,  
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,  
крепкие, как умывальники,  
живут и поныне  
тише воды.  
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером  
та или иная мразь,  
на жену,  
за пианином обучающуюся, глядя,  
говорит,  
от самовара разморясь:  
«Товарищ Надя!  
К празднику прибавка —  
24 тыщи.  
Тариф.  
Эх,  
и заведу я себе



тихоокеанские галифища,  
чтоб из штанов  
выглядывать,  
как коралловый риф!»

А Надя:  
«И мне с эмблемами платья.  
Без серпа и молота не покажешься в свете!  
В чем  
сегодня  
буду фигурировать я  
на балу в Реввоенсовете?!»  
На стенке Маркс.  
Рамочка а́ла.  
На «Известиях» лежа, котенок греется.  
А из-под потолочка  
верещала  
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...  
И вдруг  
разинул рот,  
да как заорет:  
«Опутали революцию обывательщины нити.  
Страшнее Врангеля обывательский быт.  
Скорее  
головы канарейкам сверните —  
чтоб коммунизм  
канарейками не был побит!»

*1920–1921*

## Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе

Сапоги почистить – 1 000 000.

Состояние!

Раньше б дом купил —

и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.

Даже до луны расстояние

советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт

писать один отчет.

«Что это такое?» —

спрашивает с тоскою

машинистка.

Ну, что отвечу ей?!

Черт его знает, что это такое,

если сзади

у него

тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,

что у нее

тридцать девять тысяч семь сотых температура

Так привыкли к таким числам,

что меньше сажени число и не мыслим.

И нам,

если мы на митинге режем,

рамки арифметики, разумеется, ўзки —

все разрешаем в масштабе мировом.

В крайнем случае – масштаб общерусский.

«Электрификация?!» – масштаб всероссийский.

«Чистка!» – во всероссийском масштабе.

Кто-то

даже,

чтоб избежать переписки,

предлагал —

сквозь землю

до Вашингтона кабель.

Иду.

Мясницкая.

Ночь глуха.

Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.

Сзади с тележкой баба.

С вещами

на Ярославский

хлюпает по ухабам.

Сбивают ставшие в хвост на галоши;  
то грузовик обдаст,  
то лошадь.  
Балансируя  
– четырехлетний навык! —  
тащусь меж канавиц,  
канав,  
канавок.  
И то  
– на лету вспоминая маму —  
с размаху  
у почтамта  
плюхаюсь в яму.  
На меня тележка.  
На тележку баба.  
В грязи ворочаемся с боку на бок.  
Что бабе масштаб грандиозный наш?!  
Бабе грязью обдало рыло,  
и баба,  
взбираясь с этажа на этаж,  
сверху  
и меня  
и власти крыла.  
Правдив и свободен мой вещий язык  
и с волей советскою дружен,  
но, натолкнувшись на эти низы,  
даже я запнулся, сконфужен.  
Я  
на сложных агитвопросах рос,  
а вот  
не могу объяснить бабе,  
почему это  
о грязи  
на Мясницкой  
вопрос  
никто не решает в общемясницком масштабе?!

1921

## Приказ № 2 армии искусств

Это вам —  
упитанные баритоны —  
от Адама  
до наших лет,  
потрясающие театрами именуемые притоны  
ариями Ромео и Джульетт.

Это вам —  
центры<sup>1</sup>,  
раздобревшие как кони,  
жрущая и ржущая России краса,

прячущаяся мастерскими,  
по-старому драконя  
цветочки и телеса.

Это вам —  
прикрывшиеся листиками мистики,  
лбы морщинками изрыв —  
футуристки,  
имажинистики,  
акмеистики,  
запутавшиеся в паутине рифм.

Это вам —  
на растрепанные сменившим  
гладкие прически,  
на лапти – лак,  
пролеткультцы,  
кладущие заплатки  
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —  
пляшущие, в дуду дующие,  
и открыто предающиеся,  
и грешащие тайком,  
рисующие себе грядущее  
огромным академическим пайком.

Вам говорю  
я —  
гениален я или не гениален,  
бросивший безделушки  
и работающий в Росте,  
говорю вам —

---

<sup>1</sup> Художники (*фр.* – peintres).

пока вас прикладами не прогнали:  
Бросьте!

Бросьте!  
Забудьте,  
плюньте  
и на рифмы,  
и на арии,  
и на розовый куст,  
и на прочие мелехлюндии  
из арсеналов искусств.  
Кому это интересно,  
что – «Ах, вот бедненький!  
Как он любил  
и каким он был несчастным...»?  
Мастера,  
а не длинноволосые проповедники  
нужны сейчас нам.  
Слушайте!  
Паровозы стонут,  
дует в щели и в пол:  
«Дайте уголь с Дону!  
Слесарей,  
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,  
лежа с дырой в боку,  
пароходы провыли доки:  
«Дайте нефть из Баку!»

Пока канителю, спорим,  
смысл сокровенный ища:  
«Дайте нам новые формы!» —  
несется вопль по вещам.

Нет дураков,  
жда, что выйдет из уст его,  
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.  
Товарищи,  
дайте новое искусство —  
такое,  
чтобы выволочь республику из грязи.

1921

## Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,  
вижу каждый день я:  
кто в глав,  
кто в ком,  
кто в полит,  
кто в просвет,  
расходится народ в учрежденья.  
Обдают дождем дела бумажные,  
чуть войдешь в здание:  
отобрав с полсотни —  
самые важные! —  
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:  
«Не могут ли аудиенцию дать?  
Хожу со времени она». —  
«Товарищ Иван Ваньч ушли заседать —  
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.  
Свет не мил.  
Опять:  
«Через час велели прийти вам.  
Заседают:  
покупка склянки чернил  
Губкооперативом».  
Через час:  
ни секретаря,  
ни секретарши нет —  
гболо!  
Все до 22-х лет  
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,  
на верхний этаж семиэтажного дома.  
«Пришел товарищ Иван Ваньч?» —  
«На заседании  
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,  
на заседание  
врываюсь лавиной,  
дикие проклятья дорбгой изрыгая.

И вижу:  
сидят людей половины.

О дьявольщина!

Где же половина другая?  
«Зарезали!  
Убили!»  
Мечусь, оря.  
От страшной картины свихнулся разум.  
И слышу  
спокойнейший голосок секретаря:  
«Оне на двух заседаниях сразу.  
В день  
заседаний на двадцать  
надо поспеть нам.  
Поневоле приходится раздвояться.  
До пояса здесь,  
а остальное  
там».

С волнения не уснешь.  
Утро раннее.  
Мечтой встречаю рассвет ранний:  
«О, хотя бы  
еще  
одно заседание  
относительно искоренения всех заседаний!»

*1922*

## Моя речь на Генуэзской конференции

Не мне российская делегация вверена.  
Я —  
самозванец на конференции Генуэзской.  
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина  
дополню по-моему —  
просто и резко.  
Слушай!  
Министерская компанийка!

Нечего заплывшими глазками мерцать.  
Сквозь фраки спокойные вижу —  
паника  
трясет лихорадкой ваши сердца.  
Неужели  
без смеха  
думать в силе,  
что вы  
на конференцию  
нас пригласили?  
В штыки бросаясь на Перекоп идти,  
мятежных склоняя под красное знамя,  
трудом сгибаясь в фабричной копоти, —  
мы знали —  
заставим разговаривать с нами.  
Не просьбой просителей язык замер,  
не нищие, жмуриящиеся от господского света, —  
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами  
грядущую  
Мировую Федерацию Советов.  
Болтают язычишки газетных строк:  
«Испытать их сначала...»  
Хватили лишку!  
Не вы на испытание даете срок —  
а мы на время даем передышку.  
Лишь первая фабрика взвила дым —  
враждой к вам  
в рабочих  
вспыхнули души.  
Слюной ли речей пожары вражды  
на конференции  
нынче  
затушим?!  
Долги наши,  
каждый медный грош,  
считают «Матэны»,  
считают «Таймсы».



Считаться хотите?  
Давайте!  
Что ж!

Посчитаемся!  
О вздернутых Врангелем,  
о расстрелянном,  
о заколотом  
память на каждой крымской горе.  
Какими пудами  
какого золота  
оплатите это, господин Пуанкаре?  
О вашем Колчаке – Урал спросите!  
Зверством – аж горы вгонялись в дрожь.  
Каким золотом —  
хватит ли в Сити?! —  
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?  
Вонзите в Волгу ваше зрение:  
разве этот  
голодный ад,  
разве это  
мужицкое разорение —  
не хвост от ваших войн и блокад?  
Пусть  
кладбищами голодной смерти  
каждый из вас протащится сам!  
На каком —  
на железном, что ли, эксперте  
не встанут дыбом волосы?  
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.  
Мировая —  
ночи пальбой веселя —  
революция будет —  
и велит:  
«Плати  
и по этим российским векселям!»  
И розовые краснеют мало-помалу.  
Тише!  
Не дыша!  
Слышите  
из Берлина  
первый шаг  
трех Интернационалов?

Растя единство при каждом ударе,  
идем.  
Прислушайтесь —  
вздрагивает здание.

Я кончил.  
Милостивые государи,  
можете продолжать заседание.

*1922*

## Германия

Германия —  
это тебе!  
Это не от Рапалло.  
Не наркомвнешторжым я расчетам вял.  
Никогда,  
никогда язык мой не трепала  
комплиментщины официальной болтовня.  
Я не спрашивал,  
Вильгельму,  
Николаю прок ли, —  
разбираться в дрызгах царственных не мне.  
Я  
от первых дней  
войнищу эту проклял,  
плюнул рифмами в лицо войне.  
Распустив демократические слюни,  
шел Керенский в орудийном гуле.  
С теми был я,  
кто в июне  
отстранял  
от вас  
нацеленные пули.  
И когда, стянув полков ободья,  
сжали горла вам французы и британцы,  
голос наш  
взвивался песней о свободе,  
руки фронта вытянул брататься.

Сегодня  
хожу  
по твоей земле, Германия,  
и моя любовь к тебе  
расцветает романнее и романнее.  
Я видел —  
цепенеют верфи на Одере,  
я видел —  
фабрики сковывает тишь.  
Пусть, —  
не верю,  
что на смертном одре  
лежишь.  
Я давно  
с себя  
лохмотья наций скинул.  
Нищая Германия,  
позволь

мне,  
как немцу,  
как собственному сыну,  
за тебя твою распеснить боль.

## Париж

### (Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан миллионом ног.  
Ишелестен тыщей шин.  
Я борозжу Париж —  
до жути одинок,  
до жути ни лица,  
до жути ни души.  
Вокруг меня —  
авто фантасят танец,  
вокруг меня —  
из зверорыбьих морд —  
еще с Людовиков  
свистит вода, фонтанясь.  
Я выхожу  
на Place de la Concorde<sup>2</sup>.  
Я жду,  
пока,  
подняв резную главку,  
домовьей слежкой умаяна,  
ко мне,  
к большевику,  
на явку  
выходит Эйфелева из тумана.  
– Т-ш-ш-ш,  
башня,  
тише шлепайте! —  
увидят! —  
луна – гильотинная жуть.  
Я вот что скажу  
(пришипился в шепоте,  
ей  
в радиоухо  
шепчу,  
жужжу):  
– Я разагитировал вещи и здания.  
Мы —  
только согласия вашего ждем.  
Башня —  
хотите возглавить восстание?  
Башня —  
мы  
вас выбираем вождем!

---

<sup>2</sup> Площадь Согласия (фр.).

Не вам —  
образцу машинного гения —  
здесь  
таять от аполлинеровских вирш.  
Для вас  
не место – место гниения —  
Париж проституток,  
поэтов,  
бирж.  
Метро согласилось,  
метро со мною —  
они  
из своих облицованных нутр  
публику выплюют —  
кровью смоят  
со стен  
плакаты духов и пудр.  
Они убедились —  
не ими литься  
вагонам богатых.  
Они не рабы!  
Они убедились —  
им  
более к лицам  
наши афиши,  
плакаты борьбы.  
Башня —  
улиц не бойтесь!  
Если  
метро не выпустит уличный грунт —  
грунт  
исполосуют рельсы.  
Я подымаю рельсовый бунт.  
Бойтесь?  
Трактиры заступятся стаями?  
Бойтесь?  
На помощь придет Рив-гош<sup>3</sup>.  
Не бойтесь!  
Я уговорился с мостами.  
Вплавь  
реку  
переплыть  
не легко ж!  
Мосты,  
распалясь от движения злого,  
подымутся враз с парижских боков.  
Мосты забунтуют.

---

<sup>3</sup> Левый берег (*фр.*).

По первому зову —  
прохожих ссыпят на камень быков.  
Все вещи вздыбятся.  
Вещам невоготу.  
Пройдет  
пятнадцать лет  
иль двадцать,  
обдрябнет сталь,  
и сами  
вещи  
тут  
пойдут  
Монмартрами на ночи продаваться.  
Идемте, башня!  
К нам!  
Вы —  
там,  
у нас,  
нужней!  
Идемте к нам!  
В блесенье стали,  
в дымах —  
Мы встретим вас нежней,  
чем первые любимые любимых.  
Идем в Москву!  
У нас  
в Москве  
простор.  
Вы  
— каждой! —  
будете по улице иметь.  
Мы  
будем холить вас:  
раз сто  
за день  
до солнц расчистим вашу сталь и медь.

Пусть  
город ваш,  
Париж франтих и дур,  
Париж бульварных ротозеев,  
кончается один, в сплошной складбищась Лувр,  
в старье лесов Булонских и музеев.  
Вперед!  
Шагни четверкой мощных лап,  
прибитых чертежами Эйфеля,  
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,  
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!  
Решайтесь, башня, —

нынче же вставайте все,  
разворотив Париж с верхушки и до низу!  
Идемте!  
К нам!  
К нам, в СССР!  
Идемте к нам —  
я  
вам достану визу!

*1923*



## Мы не верим!

Тенью истемня весенний день,  
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!  
Не надо!  
Разве молнии велишь  
  не литься?

Нет!  
                        не оковать язык грозы!  
Вечно будет  
  тысячестраницый  
грохотать  
                                набатный  
  ленинский язык.

Разве гром бывает немостою болен?!  
Разве сдержишь смерч,  
  чтоб вихрем не кипел?!

Нет!  
                        не ослабеет ленинская воля  
в миллионосильной воле РКП.

Разве жар  
                        такой  
  термометрами меряется?!

Разве пульс  
                                такой  
  секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце  
клокотать  
  у революции в груди.

Нет!  
Нет!  
Не-е-т...  
Не хотим,  
  не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних  
  сгинь, навязчивая тень!

1923



считаюсь хорошим поэтом.  
Ну, скажем,  
могу  
доказать:  
«самогон – большое зло».

А что про это?  
Чем про это?  
Ну нет совершенно никаких слов.  
Например:  
город советские служащие искра́пили,  
приветствуй весну,  
ответь салютно!  
Разучились —  
нечем ответить на капли.  
Ну, не могут сказать —  
ни слова.  
Абсолютно!

Стали вот так вот —  
смотрят рассеянно.  
Наблюдает —  
скалывают дворники лед.  
Под башмаками вода.  
Бассейны.  
Сбоку брызжет.  
Сверху льет.  
Надо принять какие-то меры.  
Ну, не знаю что, —  
например:  
выбрать день  
\$самый синий,  
и чтоб на улицах  
улыбающиеся милиционеры  
всем  
в этот день  
раздавали апельсины.  
Если это дорого —  
можно выбрать дешевле,  
проще.

Например:  
чтоб старики,  
безработные,  
\$неучащаяся детвора  
в 12 часов  
ежедневно  
собирались на Советской  
\$площади,  
тремякратно кричали б:  
ура!  
ура!

ура!  
Ведь все другие вопросы  
более или менее ясны.  
И относительно хлеба ясно,  
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$и относительно мира ведь.  
Но этот  
кардинальный вопрос  
относительно весны  
нужно  
во что бы то ни стало  
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$теперь же урегулировать.

1923

## Универсальный ответ

Мне

надоели ноты —  
много больно пишут что-то.

Предлагаю

без лишних фраз  
универсальный ответ —  
всем зараз.

Если

нас  
вояка тот или иной  
захочет  
спровоцировать войной, —

наш ответ:

нет!

А если

даже в мордобойном вопросе  
руку протянут —  
на конференцию, мол,  
просим, —

всегда

ответ:

да!

Если

держава  
державы  
та или другая  
ультиматумами пугает, —

наш ответ:

нет!

А если,

не пугая ультимативным видом,  
просят:  
— Заплатим друг другу по обидам, —

всегда

ответ:

да!

Если

концессией  
или чем прочим

хотят

на шею насесть рабочим, —

наш ответ:

нет!

А если

взаимно,  
вскрыв мошну тугую,

предлагают:

– Давайте

честно поторгуюм! —

всегда

ответ:

да!

Если

хочется

сунуть рыло им

в то,

кого судим,

кого милуем, —

наш ответ:

нет!

Если

просто

попросят

одолжения ради —

простите такого-то —

дурак-дядя, —

всегда

ответ:

да!

Керзон,

Пуанкаре,

и еще кто там?!

Каждый из вас

пусть не поленится

и, прежде

чем испускать зряшние ноты,

прочтет

мое стихотвореньице.

1923

## Киев

Лапы елок,  
                    лапки,  
                                    лапушки...  
Все в снегу,  
                    а теплые какие!  
Будто в гости  
                    к старой,  
                                    старой бабушке  
я  
    вчера  
        приехал в Киев.  
Вот стою  
            на горке  
                    на Владимирской.  
Ширь вовсю —  
                    не вымчать и перу!  
Так  
    когда-то,  
        рассиявшись в выморозки,  
Киевскую  
    Русь  
        оглядывал Перун.  
А потом —  
    когда  
        и кто,  
                    не помню толком,  
только знаю,  
            что сюда вот  
                    пó льду,  
да и по воде,  
            в порогах,  
                    волоком —  
шли  
    с дарами  
        к Диру и Аскольду.  
Дальше  
    было солнце  
                    куполам в литавры.  
– На колени, Русь!  
                    Согнись и стой. —  
До сегодня  
    нас  
        Владимир гонит в лавры.  
Плеть креста  
    сжимает  
            каменный святой.

Шли  
из мест  
таких,  
которых нету глуше, —  
прадеды,  
прапрадеды  
и пра пра пра!..  
Много  
всяческих  
кровавых безделушек  
здесь у бабушки  
моей  
по берегам Днепра.  
Был убит  
и снова встал Столыпин,  
памятником встал,  
\$вложивши пальцы в китель.  
Снова был убит,  
и вновь  
дрожали липы  
от пальбы  
двенадцати правительств.  
А теперь  
встают  
с Подола  
дымы,  
ижевская грудь  
гудит,  
котлами грета.  
Не святой уже —  
другой,  
земной Владимир  
крестит нас  
железом и огнем декретов.  
Даже чуть  
зарусофильствовал  
от этой шири!  
Русофильство,  
да другого сорта.  
Вот  
моя  
рабочая страна,  
одна  
в огромном мире.  
– Эй!  
Пуанкаре!  
возьми нас?..  
Черта!



Пусть еще  
                    последний,  
                                    старый батька  
содрогает  
                    плачем  
                                    лавры звонницы.  
Пусть  
            еще  
                    врезается с Крещатика  
волчий вой:  
                    «Даю-беру червонцы!»  
Наша сила —  
                    правда,  
                                    ваша —  
  лавры звоны.  
Ваша —  
                    дым кадильный,  
                                    наша —  
  фабрик дым.  
Ваша мощь —  
                    червонец,  
                                    наша —  
\$стяг червонный.  
– Мы возьмем,  
                    займем  
                                    и победим.  
Здравствуй  
                    и прощай, седая бабушка!  
Уходи с пути!  
                    скорее!  
                                    ну-ка!  
Умирай, старуха,  
                    спекулянтка,  
                                    набожка.  
Мы идем —  
                    ватага юных внуков!

1924

## Ух, и весело!

О скуке  
на этом свете  
Гоголь  
говаривал много.  
Много он понимает —  
этот самый ваш  
Гоголь!  
В СССР  
от веселости  
стонут  
целые губернии и волости.  
Например,  
со смеха  
слёзы потоком  
на крохотном перегоне  
от Киева до Конотопа.  
Свечи  
кажут  
язычки кончики.  
11 ночи.  
Сидим в вагончике.  
Разговор  
перекидывается сам  
от бандитов  
к Брынским лесам.  
Остановят поезд —  
минута паники.  
И мчи  
в Москву,  
укутавшись в подштанники.  
Осоловели;  
поезд  
темный и душный,  
и легли,  
попрятав червонцы  
в отдушины.  
4 утра.  
Скок со всех ног.  
Стук  
со всех рук:  
«Вставай!  
Открывай двери!  
Чай, не зимняя спячка.  
Не медведи-звери!»  
Где-то  
с перепугу

загрохотал наган,  
у кого-то  
в плевательнице  
застряла нога.  
В двери  
новый стук  
раздраженный.  
Заплакали  
разбуженные  
дети и жены.  
Будь что будет...  
Жизнь —  
на ниточке!  
Снимаю цепочку,  
и вот...  
Ласковый голос:  
«Купите открытки,  
пожертвуйте  
на воздушный флот!»  
Сон  
еще  
не сошел с сонных,  
ищут  
радостно  
карманы в кальсонах.  
Черта  
вытащишь  
из голой ляжки.  
Наконец,  
разыскали  
копеечные бумажки.  
Утро,  
вдали  
петухи пропели...  
— Через сколько  
лет  
соберет он на пропеллер?  
Спрашиваю,  
под плед  
засовывая руки:  
— Товарищ сборщик,  
есть у вас внуки?  
— Есть, —  
говорит.  
— Так скажите  
внучке,  
чтоб с тех собирала,  
— на ком брючки.

А этаким способом  
– через тысячную ночку —  
соберете  
        разве что  
                                на очки летчику. —  
Наконец,  
        задыхаясь от смеха,  
поезд  
        взял  
                и дальше поехал.  
К чему спать?  
                        Позевывает пассажир.  
Сны эти  
        только  
                        нагоняют жир.  
Человеческим  
                        происхождением  
                        \$    гордятся простофили.  
А я  
        сожалею,  
                что я  
                        не филин.  
Как филинам полагается,  
                                не предаваясь сну,  
ждал бы  
        сборщиков,  
                        влезши на сосну.

1924

## Комсомольская

*Смерть —  
не сметь!*

Строит,  
    рушит,  
        кроит  
            и рвет,  
тихнет,  
    кипит  
        и пенится,  
гудит,  
    говорит,  
        молчит  
            и ревет —  
юная армия:  
    ленинцы.  
Мы  
    новая кровь  
        городских жил,  
тело нив,  
ткацкой идей  
    нить.  
Ленин —  
    жил,  
Ленин —  
    жив,  
Ленин —  
    будет жить.  
Залили горем.  
    Свезли в мавзолей  
частицу Ленина —  
    тело.  
Но тленью не взять —  
    ни земле,  
            ни золе —  
первейшее в Ленине —  
    дело.  
Смерть,  
    косу положи!  
Приговор лжив.  
С таким  
    небесам  
        не блажить.  
Ленин —  
    жил.

Ленин —  
        жив.  
Ленин —  
        будет жить.  
Ленин —  
        жив  
                шаганьем Кремля —  
вождя  
        капиталовых пленников.  
Будет жить,  
        и будет  
                земля  
гордиться именем:  
        Ленинка.  
Еще  
        по миру  
                пройдут мятежи —  
сквозь все межи  
коммуне  
        путь проложить.  
Ленин —  
        жил.  
Ленин —  
        жив.  
Ленин —  
        будет жить.  
К сведению смерти,  
                старой карги,  
гонящей в могилу  
                и старящей:  
«Ленин» и «Смерть» —  
                слова-враги.  
«Ленин» и «Жизнь» —  
                товарищи.  
Тверже  
        печаль держи.  
Грудью  
        в горе прилив.  
Нам —  
        не ныть.  
Ленин —  
        жил.  
Ленин —  
        жив.  
Ленин —  
        будет жить.  
Ленин рядом.  
        Вот  
                он.

Идет  
и умрет с нами.  
И снова  
в каждом рожденном рожден —  
как сила,  
как знанье,  
как знамя.  
Земля,  
под ногами дрожи.  
За все рубежи  
слова —  
взвивайтесь кружить.  
Ленин —  
жил.  
Ленин —  
жив.  
Ленин —  
будет жить.  
Ленин ведь  
тоже  
начал с азов, —  
жизнь —  
мастерская геньина.  
С низа лет,  
с класса низов —  
  
рвись  
разгромадиться в Ленина.  
Дрожите, дворцов этажи!  
Биржа нажив,  
будешь  
битая  
выть.  
Ленин —  
жил.  
Ленин —  
жив.  
Ленин —  
будет жить.  
Ленин  
больше  
самых больших,  
но даже  
и это  
диво  
создали всех времен  
малыши —  
мы,  
малыши коллектива.

Мускул  
    узлом вяжи.  
Зубы-ножи —  
в знанье —  
    вонзай крошить.  
Ленин —  
    жил.  
Ленин —  
    жив.  
Ленин —  
    будет жить.  
Строит,  
    рушит,  
        кроит  
            и рвет,  
тихнет,  
    кипит  
        и пенится,  
гудит,  
    молчит,  
        говорит  
            и ревет —  
юная армия:  
    ленинцы.  
Мы  
    новая кровь  
        городских жил,  
тело нив,  
ткацкой идей  
    нить.  
Ленин —  
    жил.  
Ленин —  
    жив.  
Ленин —  
    будет жить.  
*31 марта 1924 г.*



## Юбилейное

Александр Сергеевич,  
разрешите представиться.  
\$Маяковский.

Дайте руку!  
Вот грудная клетка.  
Слушайте,  
\$уже не стук, а стон:  
тревожусь я о нем,  
в щенка смирённом львенке.  
Я никогда не знал,  
что столько  
тысяч тонн  
в моей  
позорно легкомыслом головолке.  
Я тащу вас.  
Удивляетесь, конечно?

Стиснул?  
Больно?  
Извините, дорогой.  
У меня,  
да и у вас,  
в запасе вечность.  
Что нам  
потерять  
часок-другой?!  
Будто бы вода —  
давайте  
мчать, болтая,  
будто бы весна —  
свободно  
и раскованно!  
В небе вон  
луна  
такая молодая,  
что ее  
без спутников  
и выпускать рискованно.  
Я  
теперь  
свободен  
от любви  
и от плакатов.  
Шкурой  
ревности медведь

лежит когтист.

Можно

убедиться,

что земля поката, —

сядь

на собственные ягодицы

и катись!

Нет,

не навяжусь в меланхолишке черной,  
да и разговаривать не хочется

ни с кем.

Только

жабры рифм

топырит учащённо

у таких, как мы,

на поэтическом песке.

Вред – мечта,

и бесполезно грезить,

надо

весть

служебную нуду.

Но бывает —

жизнь

встает в другом разрезе,

и большое

понимаешь

через ерунду.

Нами

лирика

в штыки

неоднократно атакована,

ищем речи

точной

и нагой.

Но поэзия —

пресволочнейшая штуковина:

существует —

и ни в зуб ногой.

Например,

вот это —

говорится или блеется?

Синемордое,

в оранжевых усах,

Навуходоносором

библейцем —

«Коопсах».

Дайте нам стаканы!

знаю

способ старый

в горе  
дуть винище,  
но смотрите —  
из  
выплывают  
Red и White Star<sup>4</sup>  
с ворохом  
разнообразных виз.  
Мне приятно с вами, —  
рад,  
что вы у столика  
Муза это  
ловко  
за язык вас тянет.  
Как это  
у вас  
говаривала Ольга?..  
Да не Ольга!  
из письма  
Онегина к Татьяне.  
– Дескать,  
муж у вас  
дурак  
и старый мерин,  
я люблю вас,  
будьте обязательно моя,  
я сейчас же  
утром должен быть уверен,  
что с вами днем увижусь я. —  
Было всякое:  
и под окном стояние,  
письма,  
тряски нервное желе.  
Вот  
когда  
и горевать не в состоянии —  
это,  
Александр Сергеич,  
много тяжелей.  
Айда, Маяковский!  
Маячь на юг!  
Сердце  
рифмами вымучь —  
вот  
и любви пришел каюк,  
дорогой Владим Владимыч.  
Нет,

---

<sup>4</sup> Красные и белые звезды (англ.).

не старость этому имя!  
Тúшу  
вперед стремя,  
я  
с удовольствием  
справлюсь с двоими,  
а разозлить —  
и с тремя.  
Говорят —  
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!  
Entre nous...<sup>5</sup>  
чтоб цензор не нацыкал.  
Передам вам —  
говорят —  
видали  
даже  
двух  
влюбленных членов ВЦИКа.  
Вот —  
пустили сплетню,  
тешат душу ею.  
Александр Сергеич,  
да не слушайте ж вы их!  
Может,  
я  
один  
действительно жалею,  
что сегодня  
нету вас в живых.  
Мне  
при жизни  
с вами  
сговориться б надо.  
Скоро вот  
и я  
умру  
и буду нем.  
После смерти  
нам  
стоять почти что рядом:  
вы на Пе,  
а я  
на ЭМ.  
Кто меж нами?  
с кем велите знаться?!  
Чересчур  
страна моя

---

<sup>5</sup> Между нами (*фр.*).

поэтами нищѣ.  
Между нами  
— вот беда —  
позатесался Нэдсон.  
Мы попросим,  
чтоб его  
куда-нибудь  
на Ща!  
А Некрасов  
Коля,  
сын покойного Алеши, —  
он и в карты,  
он и в стих,  
и так  
неплох на вид.  
Знаете его?  
вот он  
мужик хороший.  
Этот  
нам компания —  
пускай стоит.  
Что ж о современниках?!  
Не просчитались бы,  
за вас  
полсотни отдав.  
От зевоты  
скулы  
разворачивает аж!  
Дорогойченко,  
Герасимов,  
Кириллов,  
Родов —  
какой  
одноробразный пейзаж!  
Ну Есенин,  
мужиковствующих свора.  
Смех!  
Коровою  
в перчатках лаечных.  
Раз послушаешь...  
но это ведь из хора!  
Балалаечник!  
Надо,  
чтоб поэт  
и в жизни был мастак.  
Мы крепки,  
как спирт в полтавском штофе.  
Ну, а что вот Безыменский?!  
Так...

ничего...  
                  морковный кофе.  
Правда,  
                  есть  
                  у нас  
                          Асеев  
                                  Колька.  
Этот может.  
                  Хватка у него  
                                  моя.  
Но ведь надо  
                  заработать сколько!  
Маленькая,  
                  но семья.  
Были б живы —  
                          стали бы  
  по Лефу соредактор.  
Я бы  
                  и агитки  
                          вам доверить мог.  
Раз бы показал:  
— вот так-то, мол,  
  и так-то...  
Вы б смогли —  
                          у вас  
                                  хороший слог.  
Я дал бы вам  
                  жиркость  
                          и сукна,  
в рекламу б  
                  выдал  
                          гумских дам.  
(Я даже  
                  ямбом подсюсюкнул,  
чтоб только  
                  быть  
                          приятней вам.)  
Вам теперь  
                  пришлось бы  
\$бросить ямб картавый.  
Нынче  
                  наши перья —  
                          штык  
                                  да зубья вил, —  
битвы революций  
                  посерьезнее «Полтавы»,  
и любовь  
                  пограндиознее  
                          онегинской любви.

Бойтесь пушкинистов.  
 \$Старомозгий Плюшкин,  
 перышко держа,  
                                 полезет  
   с перержавленным.  
 – Тоже, мол,  
                                 у лефов  
   появился  
   Пушкин.  
 Вот арап!  
                                 а состязается —  
   с Державиным...  
 Я люблю вас,  
                                 но живого,  
   а не мумию.  
 Навели  
                                 хрестоматийный глянец.  
 Вы  
                                 по-моему́  
   при жизни  
 – думаю —  
 тоже бушевали.  
                                 Африканец!  
 Сукин сын Дантес!  
                                 Великосветский шкода.  
 Мы б его спросили:  
 – А ваши кто родители?  
 Чем вы занимались  
                                 до 17-го года? —  
 Только этого Дантеса бы и видели.  
 Впрочем,  
                                 что ж болтанье!  
   Спиритизма вроде.  
 Так сказать,  
                                 невольник чести...  
   пулюю сражен...  
 Их  
                                 и по сегодня  
   много ходит —  
 всяческих  
                                 охотников  
   до наших жен.  
 Хорошо у нас  
                                 в Стране Советов.  
 Можно жить,  
                                 работать можно дружно.  
 Только вот  
                                 поэтов,  
   к сожаленью, нету —





## Севастополь – Ялта

В авто  
насажали  
разных армян,  
рванулись —  
и мы в пути.  
Дорога до Ялты  
будто роман:  
все время  
надо крутить.  
Сначала  
авто  
подступает к горам,  
оаживая кряжевые.  
Вот так и у нас  
влюбленья пора:  
наметишь —  
и мчишь, уаживая.  
Авто  
начинает  
по солнцу трясть,  
то жаренной ты,  
то варённой:  
так сердце  
тебе  
распаляет страсть,  
и грудь —  
раскаленной жаровней.  
Привал,  
шашлык,  
не вяжешь лык,  
с кружением  
нету сладу.  
У этих  
у самых  
гроздьев шашлы —  
совсем поцелуйная сладость.  
То солнечный жар,  
то ущелий тоска, —  
не верь  
ни единой версийке.  
Который москит  
и который мускат,  
и кто персюки  
и персики?  
И вдруг вопьешься,

любовью залив  
и душу,  
и тело,  
и рот.  
Так разом  
встают  
облака и залив  
в разрыве  
Байдарских ворот.  
И сразу  
дорога  
нудней и нудней,  
в туннель,  
тормозами тужась.  
Вот куча камня,  
и церковь над ней —  
ужасом  
всех супружеств.  
И снова  
почти  
о скалы скулой,  
с боков  
побелелой глядит.  
Так ревность  
тебя  
обступает скалой —  
за камнем  
любовник бандит.  
А дальше —  
тишь;  
крестьяне, корпя,  
лозой  
разделали скаты.  
Так,  
свой виноградник  
потом кропя,  
и я  
рисую плакаты.  
Потом,  
пропылясь,  
проплывают года,  
трусят  
суетнею мышиною,  
и лишь  
развлекает  
семейный скандал  
случайно  
лопнувшей шиной.  
Когда ж

окончательно  
  это доест,  
распух  
                    от моторного гвалта —  
— Стоп! —  
                    И склепом  
                                отдельный подъезд:  
— Пожалте  
                    червонец!  
                                Ялта.

1924

## Владикавказ – Тифлис

Только  
нога  
ступила в Кавказ,  
я вспомнил,  
что я —  
грузин.  
Эльбрус,  
Казбек.  
И еще —  
как вас?!

На гору  
горы грузи!  
Уже  
на мне  
никаких рубаш.  
Бродягой, —  
один архалух.  
Уже  
подо мной  
такой карабах,  
что Ройльсу —  
и то б в похвалу.  
Было:  
с ордой,  
загорел и носат,  
старее  
всего старья,  
я влез,  
веков девятнадцать назад,  
вот в этот самый  
в Дарьял.  
Лезгинщик  
и гитарист душой,  
в многовековом поту,  
я землю  
прошел  
и возделал мушой  
отсюда  
по самый Батум.  
От этих дел  
не вспомнят ни зги.  
История —  
врун даровитый,  
бубнит лишь,  
что были  
царьки да князьки:

Ираклии,  
                  Нины,  
                                  Давиды.  
Стена —  
                  и то  
                                  знакомая что-то.  
В тахтах  
                  вот этой вот башни —  
я помню:  
                  я вел  
                                  Руставели Шбтой  
с царицей  
                  с Тамарою  
                                  шашни.  
А после  
                  катился,  
                                  костьями хрустя,  
чтоб в пену  
                  Тереку врыться.  
Да это что!  
                  Любовный пустяк!  
И лучше  
                  резвилась царица.  
А дальше  
                  я видел —  
                                  в пробоину скал  
вот с этих  
                  тропиночек узких  
на сакли,  
                  звеня,  
                                  опускались войска  
золотопогонников русских.  
Лениво  
                  от жизни  
                                  взбираясь ввысь,  
гитарой  
                  душу отверз —  
«Мхолот шен эртс  
                                  рац, ром чемтвис  
Моуция  
                  маглидган гмертс...»<sup>6</sup>  
И утро свободы  
                  в кровавой росе  
сегодня  
                  встает поодаль.  
И вот  
                  я мечу,

---

<sup>6</sup> Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом (*груз.*).

я, мститель Арсен,  
бомбы  
5-го года.  
Живились  
в пажих  
князёвы сынки,  
а я  
ежедневно  
и наново  
опять вспоминаю  
все синяки  
от плеток  
всех Алихановых.  
И дальше  
история наша  
хмурá.  
Я вижу  
правлящих кучку.  
Какие-то люди,  
мутней, чем Курá,  
французов чмокают в ручку.  
Двадцать,  
а может,  
больше веков  
волок  
угнетателей узы я,  
чтоб только  
под знаменем большевиков  
воскресла  
свободная Грузия.  
Да,  
я грузин,  
но не старенькой нации,  
забитой  
в ущелье в это.  
Я —  
равный товарищ  
одной Федерации  
грядущего мира Советов.  
Еще  
омрачается  
день иной  
ужасом  
крови и яри.  
Мы бродим,  
мы  
еще  
не вино,  
ведь мы еще

только мадчари.  
Я знаю:  
    глупость – эдемы и рай!  
Но если  
    пелось про это,  
должно быть,  
    Грузию,  
                    радостный край,  
подразумевали поэты.  
Я жду,  
    чтоб аэро  
                    в горы взвились.

Как женщина,  
                    мною  
                            лелеема  
надежда,  
    что в хвост  
                            со словом «Тифлис»  
вобьем  
    фабричные клейма.  
Грузин я,  
    но не кинто озорной,  
острящий  
    и пьющий после.  
Я жду,  
    чтоб гудки  
                    взревели зурной,  
где шли  
    лишь кинто  
                    да ослик.

Я чту  
    поэтов грузинских дар,  
но ближе  
    всех песен в мире,  
мне ближе  
    всех  
            и зурн  
                    и гитар  
лебедек  
    и кранов шаири.  
Строй  
    во всю трудовую прыть,  
для стройки  
    не жаль ломаний!  
Если  
    даже  
    Казбек помешает —  
                            срыть!

Все равно  
не видать  
в тумане.

*1924*



## Тамара и демон

От этого Терека  
  в поэтах  
  истерика.  
Я Терек не видел.  
  Большая потерийка.  
Из омнибуса  
  вразвалку  
сошел,  
  поплеывал  
  в Терек с берега,  
совал ему  
  в пену  
  палку.  
Чего же хорошего?  
  Полный развал!  
Шумит,  
  как Есенин в участке.  
Как будто бы  
  Терек  
  организовал,  
проездом в Боржом,  
  Луначарский.  
Хочу отвернуть  
  заносчивый нос  
и чувствую:  
  стыну на грани я,  
овладевает  
  мною  
  гипноз,  
воды  
  и пены играние.  
Вот башня,  
  револьвером  
  небу к виску,  
разит  
  красотою нетроганой.  
Поди,  
  подчини ее  
  преду искусств —  
Петру Семенычу  
  Когану.  
Стою,  
  и злоба взяла меня,  
что эту  
  дикость и выступы  
с такой бездарностью

я  
променял  
на славу,  
рецензии,  
диспуты.  
Мне место  
не в «Красных нивах»,  
а здесь,  
и не построчно,  
а даром  
реветь  
стараться в голос во весь,  
срывая  
струны гитарам.  
Я знаю мой голос:  
паршивый тон,  
но страшен  
силою ярой.  
Кто видывал,  
не усомнится,  
что  
я  
был бы услышан Тамарой.  
Царица крепится,  
взвинчена хоть,  
величественно  
делает пальчиком.  
Но я ей  
сразу:  
– А мне начхать,  
царица вы  
или прачка!  
Тем более  
с песен —  
какой гонорар?!  
А стирка —  
в семью копейка.  
А даром  
немного дарит гора:  
лишь воду —  
поди,  
попей-ка! —  
Взъярилась царица,  
к кинжалу рука.  
Козой,  
из берданки ударенной.  
Но я ей  
по-своему,  
вы ж знаете как —

под ручку...  
                        любезно...  
– Сударыня!  
Чего кипятитесь,  
                        как паровоз?  
Мы  
        общей лирики лента.  
Я знаю давно вас,  
                        мне  
                        много про вас  
говаривал  
                        некий Лермонтов.  
Он клялся,  
                        что страстью  
  и равных нет...  
Таким мне  
                        мерещился образ твой.  
Любви я заждался,  
                        мне 30 лет.  
Полюбим друг друга.  
                        Попросту.  
Да так,  
        чтоб скала  
                        распостелилась в пух.  
От черта скраду  
                        и от бога я!  
Ну что тебе Демон?  
                        Фантазия!  
  Дух!  
К тому ж староват —  
                        мифология.  
Не кинь меня в пропасть,  
                        будь добра.  
От этой ли  
                        струшу боли я?  
Мне  
        даже  
                        пиджак не жаль ободрать,  
а грудь и бока —  
                        тем более.  
Отсюда  
        дашь  
                        хороший удар —  
и в Терек  
                        замертво треснется.  
В Москве  
                        больнее спускают...  
  куда!  
ступеньки считаешь —

лестница.  
Я кончил,  
и дело мое сторона.  
И пусть,  
озверев от помарок,  
про это  
пишет себе Пастернак,  
А мы...  
соглашайся, Тамара! —  
История дальше  
уже не для книг.  
Я скромный,  
и я  
бастую.  
Сам Демон слетел,  
подслушал,  
и сник,  
и скрылся,  
смердя  
впустую.  
К нам Лермонтов сходит,  
презрев времена.  
Сияет —  
«Счастливая парочка!»  
Люблю я гостей.  
Бутылку вина!  
Налей гусару, Тamarочка!

1924

## Посмеемся!

СССР!  
Из глоток из всех,  
да так,  
чтоб врагу аж смяться,  
сегодня  
раструбливай  
радостный смех —  
нам  
можно теперь посмеяться!  
Шипели: «Погибнут  
через день, другой,  
в крайности —  
через две недели!»  
Мы  
гордо стоим,  
а они дугой  
изгибаются.  
Ливреи надели.  
Бились  
в границы Советской страны:  
«Не допустим  
и к первой годовщине!»  
Мы  
гордо стоим,  
а они —  
штаны  
в берлинских подвалах чинят.  
Ллойд-Джорджи  
ревели  
со своих постов!  
«Узурпаторы!  
Бандиты!  
Воришки!»  
Мы  
гордо стоим,  
а они – раз сто  
слетали,  
как еловые шишки!  
Они  
на наши  
голодные дни  
радовались,  
пожевывая пончики.  
До урожая  
мы доживаем,

а они  
последние дожевали  
милльончики!  
Злорадничали:  
«Коммунистам  
надежды нет:  
погибнут  
не в мае, так в июне».  
А мы,  
мы – стоим.  
Мы – на 7 лет  
ближе к мировой коммуне!  
Товарищи,  
вовсю  
из глоток из всех —  
да так, чтоб врагам  
аж смяться,  
сегодня  
раструбливайте  
радостный смех!  
Нам  
есть над чем посмеяться!

1924

## Выволакивайте будущее!

Будущее  
        не придет само,  
если  
        не примем мер.  
За жабры его, – комсомол!  
За хвост его, – пионер!  
Коммуна  
        не сказочная принцесса,  
чтоб о ней  
        мечтать по ночам.  
Рассчитай,  
        обдумай,  
                нацелься —  
и иди  
        хоть по мелочам.  
Коммунизм  
        не только  
у земли,  
        у фабрик в поту.  
Он и дома  
        за столиком,  
в отношениях,  
        в семье,  
                в быту.  
Кто скрипит  
        матершиной смачной  
целый день,  
        как немазанный воз,  
тот,  
        кто млеет  
                под визг балалаечный,  
тот  
        до будущего  
                не дорос.  
По фронтам  
        пулеметами такать —  
не в этом  
        одном  
                война!  
И семей  
        и квартир атака  
угрожает  
        не меньше  
                нам.  
Кто не выдержал  
        натиск домашний,

спит  
    в уюте  
        бумажных роз, —  
до грядущей  
        жизни мощной  
тот  
    пока еще  
        не дорос.  
Как и шуба,  
        и время тоже —  
проедает  
        быта моль ее.  
Наших дней  
        залежалых одёжу  
перетряхни, комсомолия!  
    1925



## Любовь

Мир  
    опять  
        цветами оброс,  
у мира  
    весенний вид.  
И вновь  
    встает  
        нерешенный вопрос —  
о женщинах  
    и о любви.  
Мы любим парад,  
        нарядную песню.  
Говорим красиво,  
        выходя на митинг.

Но часто  
    под этим,  
        покрытый плесенью,  
старенький-старенький бытик.  
Поет на собрание:  
        «Вперед, товарищи...»

А дома,  
    забыв об арии сольной,  
орет на жену,  
        что щи не в наваре  
и что  
    огурцы  
        плоховато просолены.  
Живет с другой —  
        киоск в ширину,  
бельем —  
    шантанная дива.  
Но тонким чулком  
        попрекает жену:  
– Компрометируешь  
        пред коллективом. —  
То лезут к любой,  
        была бы с ногами.  
Пять баб  
    переменит  
        в течение суток.  
У нас, мол,  
    свобода,  
        а не моногамия.  
Долой мещанство  
        и предрассудок!



\$сетке...

По женской линии  
тоже вам не райские скинии.  
Простенького паренька  
подцепила  
барынька.  
Он работать,  
а ее  
не удержать никак —  
бегают за клёшем  
каждого бульварника.  
Что ж,  
сиди  
и в плаче  
Нилом нилься.  
Ишь! —  
Жених!  
— Для кого ж я, милые, женился?  
Для себя —  
или для них? —  
У родителей  
и дети этакого сорта:  
— Что родители?  
И мы  
не хуже, мол! —  
Занимаются  
любовью в виде спорта,  
не успевают  
вписаться в комсомол.  
И дальше,  
к деревне,  
быт без движеньица —  
живут, как и раньше,  
из года в год.  
Вот так же  
замуж выходят  
и женятся,  
как покупают  
рабочий скот.  
Если будет  
длиться так  
за годом годик,  
то,  
скажу вам прямо,  
не сумеет  
разобрать  
и брачный кодекс,  
где отец и дочь,

который сын и мама.  
Я не за семью.  
                        В огне  
                                и в дыме синем  
выгори  
                        и этого старья кусок,  
где шипели  
матери-гусыни  
и детей  
                        стерег  
                                отец-гусак!  
Нет.  
                Но мы живем коммуной  
  плотно,  
в общежитиях  
                                грязнеет кожа тел.  
Надо  
                голос  
                                подымать за чистоплотность  
отношений наших  
  и любовных дел.  
Не отвиливай —  
                                мол, я не венчан.  
Нас  
                не поп скрепляет тарабарящий.  
Надо  
                обвязать  
                                и жизнь мужчин и женщин  
словом,  
                нас объединяющим:  
  «Товарищи».

*1926*

## Послание пролетарским поэтам

Товарищи,  
        позвольте  
                        без позы,  
  без маски —  
как старший товарищ,  
                                неглупый и чуткий,  
поразговариваю с вами,  
                                товарищ Безыменский,  
товарищ Светлов,  
                                товарищ Уткин.  
Мы спорим,  
        аж глотки просят лужения,  
мы  
        задыхаемся  
                        от эстрадных побед,  
а у меня к вам, товарищи,  
                                деловое предложение:  
давайте  
        устроим  
                        веселый обед!  
Расстелим внизу  
                        комплименты ковровые,  
если зуб на кого —  
                        отпилим зуб;  
розданные  
        Луначарским  
                                венки лавровые —  
сложим  
        в общий  
                        товарищеский суп.  
Решим,  
        что все  
                        по-своему правы.  
Каждый поэт  
                        по своему  
                                голоску!  
Разрежем  
        общую курицу славы  
и каждому  
        выдадим  
                        по равному куску.  
Бросим  
        друг другу  
                        шпильки подсовывать,  
разведем  
        изысканный



по коммуне  
стихов сорта,  
в коммуноу  
душа  
потому влюблена,  
что коммуна,  
по-моему,  
огромная высота,  
что коммуна,  
по-моему,  
глубочайшая глубина.  
А в поэзии  
нет  
ни друзей,  
ни родных,  
по протекции  
не свяжешь  
рифм лычки.  
Оставим  
распределение  
орденов и наградных,  
бросим, товарищи,  
наклеивать ярлычки.  
Не хочу  
похвастать  
мыслью новенькой,  
но по-моему —  
\$утверждаю без авторской спеси —  
коммуна —  
это место,  
где исчезнут чиновники  
и где будет  
много  
стихов и песен.  
Стоит  
изумиться  
рифмочек парой нам —  
мы  
почитаем поэта гением.  
Одного  
называют  
красным Байроном,  
другого —  
самым красным Гейнем.  
Одного боюсь —  
за вас и сам, —  
чтоб не обмелели  
наши души,  
чтоб мы

не возвели  
в коммунистический сан  
плоскость раешников  
и ерунду частушек.  
Мы духом одно,  
понимаете сами:  
по линии сердца  
нет раздела.  
Если  
вы не за нас,  
а мы  
не с вами,  
то черта ль  
нам  
остаётся делать?  
А если я  
вас  
когда-нибудь крою  
и на вас  
замахивается  
перо-рука,  
то я, как говорится,  
добыл это кровью,  
я  
больше вашего  
рифмы строгал.  
Товарищи,  
бросим  
замашки торгашьи  
— моя, мол, поэзия —  
мой лабаз! —  
всё, что я сделал,  
все это ваше —  
рифмы,  
темы,  
дикция,  
бас!  
Что может быть  
капризной славы  
и пепельней?  
В гроб, что ли,  
брать,  
когда умру?  
Наплевать мне, товарищи,  
в высшей степени  
на деньги,  
на славу  
и на прочую муру!  
Чем нам



делить  
                                  поэтическую власть,  
сгрудим  
                  нежность слов  
                                  и слова-бичи,  
и давайте  
                  без завистей  
                                  и без фамилий  
  класть  
в коммунову стройку  
                                  слова-кирпичи.  
Давайте,  
                  товарищи,  
                                  шагать в ногу.  
Нам не надо  
                  брюзжащего  
                                  лысого парика!  
А ругаться захочется —  
                                  врагов много  
по другую сторону  
                                  красных баррикад.

1926

## Фабрика бюрократов

Его прислали  
                                для проведения режима.  
Средних способностей.  
                                Средних лет.  
В мыслях – планы.  
                                В сердце – решимость.  
В кармане – перо  
                                и партбилет.  
Ходит,  
                                распоряжается энергичным жестом.  
Видно —  
                                занимается новая эра!  
Сам совался в каждое место,  
всех переглядел —  
                                от зава до курьера.  
Внимательный  
                                к самым мельчайшим крохам,  
вздувает  
                                сердечный пыл...  
Но бьются  
                                слова,  
                                как об стену горохом,  
об —  
                                канцелярские лбы.  
А что канцелярии?  
                                Внимает, мошенница!  
Горите  
                                хоть солнца ярче, —  
она  
                                уложит  
                                весь пыл в отношеньица,  
в анкетку  
                                и в циркулярчик.  
Бумажку  
                                встречать  
                                с отвращением нужно.  
А лишь  
                                увлечешься ею, —  
то через день  
                                голова заталмужена  
в бумажную ахинею.  
Перепишут всё  
                                и, канителью исходящей нитью,  
на доклады  
                                с папками идут:  
– Подпишитесь тут!

Да тут вот подмахнитесь!..  
И вот тут, пожалуйста!..  
И тут!..  
И тут!.. —

Пыл  
в чернила уплыл  
без следа.

Пред  
в бумагу  
всосался, как клещ...

Среда —  
это  
паршивая вещь!!

Глядел,  
лицом  
белее мела,  
сквозь канцелярский мрак.  
Катился пот,  
перо скрипело,  
рука свелась  
и вновь корпела, —  
но без конца  
громадой белой  
росла  
гора бумаг.  
Что угодно  
подписью подляпает,  
и не разберясь:  
куда,  
зачем,  
кого?

Собственную  
тетушку  
назначит римской папою.

Сам себе  
подпишет  
смертный приговór.

Совести  
партийной  
слабенькие пiski  
заглушает  
с днями  
исходящий груз.

Раскусил чиновник  
пафос переписки,  
облизнулся,  
въелся  
и — вошел во вкус.

Где решимость?

планы?  
и молодчество?  
Собирает канцелярию,  
загринок мыля ей.  
– Разузнать  
немедля  
имя-отчество!  
Как  
такому  
посылать конверт  
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$с одной фамилией??! —  
И опять  
несется  
мелким лайцем:  
– Это так-то службу мы несем?!  
Написали просто  
«прилагается»  
и забыли написать  
«при сем»! —  
В течение дня  
страну наводня  
потопом  
ненужной бумажности,  
в машину  
живот  
уложит —  
и вот  
на дачу  
стремится в важности.  
Пользы от него,  
что молока от черта,  
что от пшениной каши —  
золотой руды.  
Лишь растут  
подвалами  
отчеты,

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.